

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

Н О Я Б Р Ъ

М О С К В А

4 • 9 • 3 • 1

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Владимир ЛУГОВСКОЙ. — Англия, стихотворение 7
2. Артем ВЕСЕЛЫЙ. — Россия, кровью умытая, главы из романа, продолжение 9
3. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Море, люди, дни, из книги «Полход «Седова», окончание, с иллюстрациями. 20
4. Алексей ТОЛСТОЙ. — Черное золото, роман, продолжение. 41
5. Ал. РАКИТНИКОВ. — БЫК, рассказ. 52
6. Ник. ТАРУССКИЙ. — Два стихотворения. 67
7. Леонид ГРОССМАН. — Апрельские бунтари, главы из романа о Достоевском. 68
8. Илья СЕЛЬВИНСКИЙ. — Баллада о барабанщике, стихотворение. 107

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

9. Иг. МАЛЕЕВ. — Ковчег, очерки о людях саратовского Комбайнстроя. 108
10. Петр ВОРОБЬЕВ. — Парафин белый, очерк. 120

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

11. Г. ГРИГОРОВ. — Гегельянство В. Г. Белинского 128
12. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Проблемы марксистского литературоведения, статья третья. 141
13. Арк. ГЛАГОЛЕВ. — О повести Митрофанова. 170
14. Н. ЗАМОШКИН. — О смежных и касательных сторонах диалектико-материалистического метода в литературе, заметки. 175
15. Ю. ДАНИЛИН. — «Красный человек», к столетию первого лионского восстания. 194

ЗА РУБЕЖОМ:

16. С. ГАЛЬПЕРИН. — Под национальной этикеткой (после английских выборов). 202

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Борис АНИБАЛ. — Николай Москвин «Гибель реального».	206
Ю. ДОБРАНОВ. — Ольга Форш «Сумасшедший корабль».	206
Я. БУЧИЛОВ. — Н. Юргин «Перпендикуляр».	207
Борис ГРОССМАН. — М. Галяу «Муть».	208
К. ЛОКС. — Н. Ашукин «Литературная мозаика».	208

В ДВЕНАДЦАТОЙ (ДЕКАБРЬСКОЙ) КНИГЕ «НОВОГО МИРА» БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ. Россия, кровью умытая, главы из романа. — БОРИС ПАСТЕРНАК. Кавказские стихи. — ВАСИЛИЙ РЯХОВСКИЙ. Чужой век, рассказ. — С. ЛЕВМАН. Закон жертвы, рассказ. — АРКАДИЙ СИТКОВСКИЙ. Истина, стихотворение. — КОНСТАНТИН ФИНН. Окраина, рассказ. — АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ. Главы из «Повести о братьях Тургеневых». М. СВЕТЛОВ. Германия, стихотворение. — С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. Инвалидный мерин, рассказ. — АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. Черное золото, роман. СЕМЕН ОЛЕНДЕР. Испанская песнь, стихотворение. ЛЮДИ И ФАКТЫ. С. БОРИСОВ. В горах Тянь-Шаня, очерк. Н. РУНОВА. Наши женщины, очерк. А. Н. ЧИЧЕРИН. Люди на ходу, очерк. ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО. АРК. ГЛАГОЛЕВ. Обзор журнала «Красная Новь». М. ЗЕНКЕВИЧ. О новинках английской и американской литературы. ИНН. ОКСЕНОВ. О «Прологе» В. Каверина. ИЗ ПРОШЛОГО. НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО В. Ф. ВЯЗЕМСКОЙ О СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА. ЗА РУБЕЖОМ. КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.

Россия, кровью умытая

Главы из романа

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

(Продолжение¹⁾)

В России революция, ото всего-то света поднялась пыль столбом.

На перевале

Станица раскачивалась, через станицу волной катились вести:

...Большевики берут верх по всей России.

...На Дону — война.

...На Украине — война.

...В Новороссийске — советская власть.

...По Ставрополю народным собраниям поставлена советская власть.

...Казаки за народ.

...Казаки против народа.

...Под станцией Энем офицеры перебили отряд новороссийских красногвардейцев.

...В Екатеринодаре войсковое правительство разгромило исполком и арестовало большевистских вожаков.

...Ростов взят красными.

...В станице Крымской, на съезде представителей революционных станиц, выбран кубанский областной военно-революционный комитет.

Весна выдалась недружная. Блеснет ясный денек, другой, и снова запорошит, завьюжит. Чуть ли не до благовещения прихватывали заморозки, перепал снежок, но уже близилась пора пашни и весеннего сева: по-особенному, свежо и зазвонисто, горланили петухи; под плетнями на пригреве босые ребятишки

уже играли в бабки; в садах и на огородах копались бабы; хозяин сортовал, протравливал посевное зерно, вез в починку плуг и сеялку.

Два раза в неделю приглушенно шумел базар, в кузницах день и ночь кипела работа, над станицей плыл и таял в сырых просторах степи медлительный великопостный звон.

У кузниц и на базаре, и в церковной ограде — всюду, где сходились люди, — неизбежно заваривались крутые споры, вскипали сердитые голоса, вражда рвалась направо и налево.

Фронтвики из вечера в вечер собирались в доме учителя Григорова, судили, рядили — какую власть ставить? Приходили послушать дерзких речей и старики, но сами в разговор ввязывались редко, молча посасывали трубки, по перенятой от азиатцев привычке строгали ножами палочки да, посматривая друг на друга, качали головами. Завернули было как-то на огонек солдатки. Школьный сторож Абросимыч, престарелый герой турецких походов, облаял их последними словами и вытолкал в шею — не вашего, мол, тут ума дело.

— Я так думаю, надо нам самый зуб выдернуть — арестовать атаманов, такую-сякую его мать.

— Не с той ноги, Максим, пляшешь. Арестуем атамана — казаки завтра же всех нас порубят, постреляют. Они такие...

¹⁾ См. «Новый мир», кн. 10 с. г.

— Ху, дурак,—осаживал говорившего кто-нибудь из молодых казаков. — Мне атаман тоже дорог, как собаке пятая нога. Сшибить его нехитро, а когэ поставим хозяином станицы?

— Вот Емельку, — смеялся под'есаул Сотниченко, выталкивая вперед батрака Емельяна Пересвета. — За такой головой жить не тужить.

Смущенный Пересвет, как бугай, мотал косматой башкой, что-то мычал и пятаился в угол, а кругом гремели голоса:

— Брысь под лавку.

— Он и свинье замесить не умеет.

— Мы того не допустим, чтоб, как в других прочих местах, всякий прошатай над нами стоял... Послушаешь — уши вянут: там фельдфебелишка, там рыбак, там матрос станицей крутит.

— И христос плотником был,—вставил благообразный мужик Потапов, вбжак секты евангелистов.

— Быть того не могёт, — отмахнулся Сотниченко. — Какой там плотник? Может статья, был он подрядчиком или кем... Но чтоб плотником — руби голову, не поверю.

Хохот пошел такой, будто поленница дров развалилась.

Сбитый с позиции Сотниченко не унимался:

— Я — природный казак. Два георгия и медаль заслужил. Мне ли его, Емелькин, приказ исполнять? Того во век не будет.

Взяло Максима за сердце, опрокинулся на под'есаула:

— Во, во, братику: генеральская палка еще не дюже вам прискучила... Поставь перед тобой чучелу в рассыпных эполетах—и перед той будешь тянуться да честь отдавать. Генералы да атаманы большое жалованье получали, много они сосали народной крови. Нам нужны управители подешевле. Всем миром-соброром будем за ихними делами смотреть. Выборный комиссар, будь он хоть чорт, — весь на виду. Чуть начнет неправильные приказы давать — по шапке его, выбирай другого...

— Господина Григорова просить будем, говорок.

— Он и говорок, да смиренный, а дело,—Максим, как бы извиняясь, коротко улыбался учителю и испытующе глядел

ему в глаза,—дело к войне, нам смиренных не надо.

Григоров порывисто вскакивал и говорил, говорил о светлом будущем России и революции, о народопроравстве и грядущем примирении всех наций и сословий. По природе человек мечтательный и тихий, в дни далекой юности он увлекался революционными идеями, но, когда началась расправа над лучшими, слабые увяли. Увял и убрался из города и Григоров. Десять лет с лишним как он уже учительствовал в станице, вдалбливая в головы подростков нехитрые правила правописания и незыблемые истины начальной математики... Говорил он обычно горячо и помногу и при этом, по болезненной привычке, вертел в руках какой-нибудь предмет или быстрым движением навивал на палец и вновь распускал длинный черный шнурок пенснэ. Иные, слушая его, скучали, а иных как раз и прельщали непонятные и кудреватые слова, которыми учитель обильно уснащал свою речь, сам того не замечая.

Когда наконец, усталый и счастливый, он плюхался на стул, ему, по завезенной из города моде, рукоплескали, а до ушей долетал, обжигая, одобрительный шопот:

— Башка...

— Это действительно... Говорит, как по книжке читает.

— Господи, твоя воля, что-то с нами будет? — мясник Данило Семибратов донельзя засаленным батистовым платком отирал вспотевшее лицо, пооосию золотистой шерстью грудь, подмышкы и, редко расставляя слова, хрипел:—По мне, коли что, выбрать хорошего человека, и пускай ходит пополам: один день атаманом, другой день комиссаром.

Максим на него:

— Нет, Данило Семенович, нечего нам с атаманами устраивать сучью свадьбу. Раздергивать их на все концы и никакая гайка.

— Дивитесь, люди добрые, Кужель сам в комиссары метит, да—не балуй!—хвост короток.

— Куда мне, я малограмотный... Вперед не суюсь, но и сзади не останусь: интересуется меня, что у нас получится?.. Ночей не сплю. думаю.

Евангелист Потапов нахлобучивал на глаза заячий малахай и, пробираясь к

выходу, ни на кого не глядя, как бы про себя бормотал:

— Всенародная молитва, покаяние и прощение грехов друг другу... А тут— адов смрад, хула, вертеп разбойников... Кровь будет, горе будет, пожрем и похитим друг друга, а червь пожрет всех нас... Зарастут пороги наших жилищ сорной травой, едины хищны звери будут рыскать по лицу земли...

Кто бы мог подумать, что не пройдет и месяца, как новоизраильцы, староизраильцы, субботники, штундисты, прыгуны и другие сожительствовавшие в станице секты выставят в партизанские отряды роты и сотни своих братьев?

Максим долбил свое:

— Нам хоть туда, хоть сюда, но как бы скорее землю...

— Да, время не ждет, пора бы и делить.

— А чего ее делить? Она делена. Ударит теплышко-ведрышко, запрягу, свистну и поеду.

— Грех между нами будет.

— Старость придет, замолим.

— Умно сказал: «свистну да поеду».

У вас, Алексей Миронович, казачьего наделу пятнадцать десятин на душу, а душ не мало— три сына, племяш, дед, зять да сам большой... Дурной головой сразу и не сообразишь, какую вы под пашню карту поднимете.

— А ты чужой не считай, мозги свихнешь... Гони аренду по триста целкашей за десятину и вваривай, на сколько сила взгребет.

— Где возьму такие капиталы? Целкаши не кую и не ворую.

— Мне до того заботы мало, со своим добром не навяливаюсь. Кому надо, придут да еще и в ножки мне поклонятся.

— Ой, Алексей Миронович, не прощитайся.

— И чего ты, Игнат, к нему присваиваешься? — вступил в разговор инвалид Савка. — Люди выедут, и мы выедем. Люди начнут сеять, и мы начнем сеять. Которое поле приглянулось, то и твое.

— Сейте, сейте, а убирать да молотить вас не заставим. как-нибудь и сами справимся.

— Разувайся, скидавай штаны и ложись спать... Мы, фронтовики, не выпустим оружия из рук, пока свой поря-

док не установим. Свобода, равенство и никакого с вами, кабанями, братства. Вся сила в нас, что захотим, то и сделаем.

— Погавкай, собака хромая.

— Это я — собака?

— Нет, не ты, а твоя милость.

Савка поднимал костыли и лез в драку. Его оттаскивали и отговаривали. Он рвался и не своим голосом орал:

— Я ему голову отвинчу...

— Отцепись, калека. Послушай лучше, что вон люди про войну говорят...

— Провались она в преисподню, эта самая война... Тебе, Игнат, еще гладко: сын в городе хорошие деньги зарабатывает, он тебя докормит до смерти. А мое положение — жена больна, нездоровье не позволяет ей работать, полна хата малышей, жрать нечего, и сам я не имею над чем трудиться.

Казак Загинайло, дослужившийся за войну до чина подхорунжего, щелкал себя по щегольскому сапогу плетью и бойко рассказывал о своем побеге из турецкого плена.

— ...Иду неделю, иду вторую, еду голодный... Горы, снега, все тропы и дороги позаметадо, позамело. Иду. Орудия бухают. Ну, думаю, едрена мать, фронт недалече. Сердце радостью облилось. Иду. А ноги уж не шагают. В ущельи речка гремит, над речкой аул. И до чего мне кушать захотелось, ну крутит кишки, как клещами. Пропадать — так пропадать, что будет, а глядишь, чего и пожевать достану. Дождался ночи, спускаюсь... Ни огонька, ни визгу... Захожу в саклю — пусто, в другую — пусто. Весь аул облазил и, вот тебе, ни живой души, ни крохоточки хлеба. Разложил огонек, и так чего-то мне неудобно. Дай переобуюсь. Не тут-то было, вмерзли ноги в сапоги, хоть отрубь да выкинь. Сидеть у огня, думаю, не годится. А пушки, ну, совсем близко грохочут. Мне умирать не любопытно. Мне любопытно за родину возвратиться. Помолился пресвятой богородице и кое-кому из самых главных угодников и — ходу. Иду. Стоит под луной гора крута да высока, — поглядеть, заламя голову, — и втемяшилось мне забраться на нее. Оттуда, смекаю, и позицию, и свой курень на Кубани увижу: така высочай-

на гора. Лез-лез, лез-лез, снега подо мной подломились, гу-гу, обвал... Закружило, завертело меня и обратно под аул в речку кинуло. Вылез, отряхнулся, как пудель, руки в крови, морда в крови, на коленках и локтях мясо до мослов ободрано. Что тут будешь делать? Посушил на ветру лохмотья и опять на гору... Лез-лез, лез-лез, снова дрогнули снега, и снова меня в речку совлекло. Хоть плачь, хоть смейся. Больше суток я на ту проклятую гору царапался и все-таки влез, влез на самую вершину... Мать честная! Вот они, шагнуть раз, турецкие окопы. Под горой, чуть видно, наша позиция. На турок мне глядеть не любопытно, любопытно мне, как бы поскорее к своим. Поднимаюсь во весь рост и кричу: «Братцы!» А до братцев верст пяток с гаком, где ж там услышать? Турки загалдели и ко мне. Шалишь, кардашь, теперь я научился с гор кататься. Перекрестился, подвернул под себя потуже полы шинели и в свою сторону с обрыва — бух! Крики, стрельба, снежная пыль надо мной столбом. Как летел до своих окопов, не помню. Очнулся аж в тифлисском лазарете...

— Лихо.

— Бог не без милости, казак не без счастья.

— И язык турецкий, вы господин подхорунжий, заучили? — скривив почтительную мину, спросил Захар Догонай.

— Не так чтобы очень, разве выпросить или купить чего, а украсть и так можно.

Дружно засмеялись.

— Было дело.

— Да, почудили на свой пай, — сказал гвардеец Серега Остроухов. — Не знаю как кого, а меня ноне на войну и арканом не затянешь. Погеройствовали, хватит. Самое теперь время ночью над своей бабой геройство оказывать.

— Ты, односум, до баб лют. Кабы за такое геройство награды выдавали, зараз бы полный бант заслужил.

— Ох, леденеет кровь в усталых жилах, как только подумаешь о войне, а воевать не миновать.

— Горюшко-головушка.

— До стены дошли, — говорит Максим, — стену ломать надо. С кого на-

чинать, с чего начинать, у всех ли есть оружие?

Мысль рождалась туго.

Спорили целыми ночами, бесконечно плутали в кривотолках, и все же передовые, хотя и медленно, но выбивались на верную тропу.

Жил еще в станице матерой анархист Степан Абрамович Лихаренко. Изгнанный из Киевского университета за вольнодумство, он отважно кинулся в стремительный поток событий 1905 года. Подпольные кружки, массовки, уличные демонстрации, — сколько во всем для молодого было гремущей и блещущей всеми красками поэзии. Не увлекли его ни половинчатая эсеровская программа, ни подслащенная философия либералов, ни марксистская теория и тактика. Сердце жаждало чего-то яркого и необычайного. Сошелся с анархистами — полный простор. В пороховом дыму и в зареве несбыточных мечтаний летела сама дерзость: эксы, взрывы, налеты, разгром помещичьих экономий. Ростов, Одесса, Николаев, Екатеринослав, Крым. В севастопольском восстании Лихаренко потерял руку, был захвачен и — шесть страшных лет орловского централа: карцер, розги, муштра, зуботычины, голодовка, могильная тишина и в тишине густой мат тюремщиков и лютые вопли засекаемых насмерть каторжан. Потом этапы, Сибирь, но с дороги посчастливилось бежать. Оглушили беглеца вокзалы, города, вольный ветер, большое небо. Каторга не сломила его неукротимой воли, но сила сдала — начал харкать кровью. Тщетно искал боевых соратников: иные были давно казнены, иные еще гремели кандалами, немало было и таких, что упятились под серое знамя обывательщины. В одном из одесских притонов встретил налетчика первой руки Сашку Громобоя, с которым судьба еще раньше свела его в тюрьме. Разговоры были коротки. Вскоре они едовое подняли на штурм уездное казначейство. Сашка без лишних слов отказался от своей доли. Лихаренко с большими деньгами и с паспортом на имя инженера Максимовского приехал перед войной на Кубань. Станичное начальство не тревожило залетного гостя, который жил тихо и целыми неделями ни-

куда не выходил из дому. Беспокойный ум его метался от учений основоположников анархизма к священным текстам старых раскольничьих книг и от путаницы модных течений философии к химии. В его рабочей комнате два стола, голки, подоконники и стулья были заставлены колбами, ретортами и всевозможными химическими приборами. Всюду в беспорядке валялись книги.

Реденько к нему заглядывал Григоров, смутно угадывающий в мнимом инженере что-то такое... Но тот был неразговорчив. Только один раз учитель застал его в страшно возбужденном состоянии. Диковатый и до глаз заросший седым волосом Степан Абрамович бегал по комнате и глуховато кричал:

— Безумцы, они тешатся своими бреднями, но я докажу... Народы, классы, пролетариат — все болтовня... Многовековая история борьбы есть не более как пошлый фарс: владыки сменяют владык и деспоты деспотов, а человечество, как было, так и остается стадом. Восстания, революции... Кнутом палача или грошовыми подачками стадо приводится в покорность и снова загоняется в свой хлев. Достижения науки, равно как и всякая вещица, сделанная руками фабричного раба, служат укреплением могущества паразитов... Только гений может вывести человечество на блистательный путь действительно новой жизни... — Он подал Григорову увесистую рукопись, которая была озаглавлена «Химическое равновесие в разнородной среде», и с еще большим жаром продолжал: — Проблема о непостоянстве величин действующей массы твердого тела разрешена мною совершенно по-новому.

Григоров полистал испещренную замысловатыми формулами рукопись и в большом смущении положил ее на стол:

— Простите... Я не специалист.

— Ага. Тогда я продемонстрирую опыт. — Степан Абрамович извлек из шкафа мяукающего котенка, посадил его в эмалированное блюдо и дал с'есть ломоть колбасы, посыпанный каким-то зеленоватым порошком: смерть последовала мгновенно, потянуло запахом разлагающегося мяса, распались связки костей, и не более, как через две минуты,

на блюде чернела щепотка вещества, похожего на пепел,—это все, что осталось от котенка. И само блюдо хрупнуло и развалилось в руках химика.

Ошеломленный Григоров ушел. Впрочем исчезновения собеседника Степан Абрамович и не заметил. Размахивая рукой, он продолжал бегать по комнате и говорил уже сам с собой:

— Ускоренный процесс разложения света, звука, материи... Еще одно усилие: включение в струю эфира, и — трепещите, тираны... Я предъявлю вам ультиматум, которого не знал мир. Все вы с богатствами и легионами ваших слуг будете уничтожены или... или я развалю земной шар на две половинки, как арбуз ножом. Еще одно усилие, одна догадка...

Вскоре он отправился в столицу, где многознай, знаменитый профессор, наспех ознакомившись с рукописью, сказал: «Труд ваш, милостивый государь, в основном несамостоятелен, а в частностях настолько сумбурен, что не поддается никакой проверке Прощайте».

Степан Абрамович вернулся в станицу и с еще большим упорством принялся за опыты, но не суждено ему было довести их до конца: загремели громы революции, и он, как боевой конь, слышав зов трубы, перебрался на жительство в город.

Плескалась весна прибоем горячих дней.

Взыграла, разлилась Кубань-река. Налетели хлопотливые скворцы и жаворонки. Густой ветер наносил со степи волнующие запахи распаренной земли и первого полынка. Ночи — песня, визги да девичий смех — были темным-темненьки.

Станица поднялась.

По размокшим дорогам двинулись, заскрипели тяжелые мажары, одноконные роспуски и заложенные парами повозки. Солнце, подобно орлу, плыло, играло в синем просторе. Клубились, летели светлые облака, по взгоркам скользили жидкие тени. По обсохшим обочинам дорог, загня хвост, скакали собаки. Далеко разносилось заливистое ржание коней... Нет-нет, да и переблеснет высветленный зуб бороны, носок лемеха, бляха сбруйная. Оживленный говор, ликующие в румяных улыбках ро-

жицы ребятишек, насунутые на нос от загара бабьи платки, хлопанье кнутов:

— Цоб... Цоб, цобе.

Максим нагнал пару чубарых волов.

— Со степью, кум.

— И вас так же.

— Хороший денек, кто вчера умер — пожалеет... Где, Николай Трофимович, пахать думаешь?

— Э-э, провались сно совсем...—кум Микола пробормотал что-то невнятное и принялся с ожесточением нахлестывать волов.

— А все-таки?

Кум долго сопел, что-то обмозговывая, потом внимательно оглядел Максима, Максимова коня, оковку наново перетянутых шин и, побрякивая, туго, через силу заговорил:

— Не придумая, как оно и повернется?.. Выглядел я тут себе добрую делянку пана полковника Олтаржевского... Да-а-а... Така панска земля жирна, что ее хоть на хлеб мажь да ешь... С осени посушили мы с Мирошкой пану задаток и подняли под зябь добрый клин... Сунуть ему в задаток грошей горсть совестно, а больших денег не случилось. — Он снова надолго замолчал и, еще раз недоверчиво покосившись на Максима, досказал: — А вот тебе — ни пана, ни Мирошки. Пан, слышно, в городе казачьим полком командует, а Мирошку дядька переманил в Ейск и всадил его, дураplyса, на свой свешной завод приказчиком...

— Ну?

— Вот и ну... Кто знает, как оно повернется? Тут тебе свобода, а тут вдруг восстанет против народа царь?

— Полудурок... Нашел, над чем голову ломать? Езжай и паши.

— А полковник пан Олтаржевский? Ну-ка нагрнет? Ведь он меня не масленого не вареного с'ест? Такой усатый да крикливый. Сколько разов во сне, проклятый, снился, аж тебя затрясет всего и в холод кинет.

— С него уж поди-ка с самого где-нибудь наши товарищи шкуру спустили...

— Дай бы господи.

— И велика делянка?

— Земли там уйма... Панской во семьсот, десятин, войсковой сколько-то тысяч. Работай не ленись.

— Та-а-ак, дядя лапоть, — протянул Максим. — А я за гребню думаю удариться... В Горькой балке, говорят, паев много гулящих лежит?

— И хочется тебе за десять верст лошадь гонять? — кум Микола сдвинул шапку с запотевшего лба и, повременив, с важностью сказал: — Я тебе уважу, я такой человек, я для свояка хсть пополам, хоть надвое разорвусь... Лошаденка у тебя одна и прилад никудышный, а у меня все-таки пара волов, они, прокляты, тягуши... Гоняй со мной?.. Подыдем супрягой десятины по четыре и с лепешками будем. А?..

Максим пораздумал немного и чуть усмехнулся:

— Что ж, кум, за мной дело не встанет.

— Ооо, и поедем... После рассчитаемся: ну, поставишь могорыч, ну и мне когда-нибудь добро сделаешь. Я такой человек, я... Ээх, шагай, чубарые.

Свернули на проселок.

Степь без конца, без краю.

По распаханым полосам катились черные земляные волны. Горячей силой весенних соков был напоен каждый ком земли. Важно расхаживал грач, кося умным глазом и выклеывая из борозды жирных червей. Свист суслика, крики погоньчей, неспешный шаг вола.

Максим с кумом дали три больших круга и остановились покурить. Со стороны маячившего на возвышенном месте хутора под'ехал верхом рыжеусый, в собачьем сбитом на затылок малахае.

— Вы чего? — спросил он.

— А ничего...

— Чью землю ковыряете?

— Богову.

— В нашем юрте боговой нет. То земля казачьего полковника Олтаржевского, а как он сам на службе померши, то земля стала нашей, казачьей. Запрягайте и ссыпайтесь отсюда, да не оглядывайтесь, коли живы быть хотите... — сам говорит, а глазами, как шильями колет.

— Господин любезный, мы за нее аренду платили.

— Я тебе покажу аренду, бесова душа... Я с тебя, бугай, собью рога... Всю степь заставлю рылом перепахать.

— А ну, заставь! — шагнул Максим навстречу.

Казак некоторое время молча постоял на меже и угнал к хутору. Однако скоро он вернулся обратно уже в сопровождении еще пятерых и, наезжая на Максима конем, скомандовал:

— Поди прочь.

— Легче.

— Разнесу, косопузые! — и через лоб Максима плетью.

Максим схватил с повозки приготовленную оглоблю и, размахивая ею, пошел в атаку.

Кум Микола бросился было бежать, голоса:

— Ратуйте, православные.. За наше добро да нас же по соплям бьют.

Но двое, догнав, начали поливать его плетями и скоро спустили с его плеч посеченную в клочья рубашу.

Отовсюду скакали верхами и бежали, на ходу сбрасывая кожухи и засучивая рукава.

— Бей.

— Злыдни.

— Заплюем, засморкаем.

Максим сдернул с коня за ногу рыжеусого и принялся топтать его коваными сапогами, а кум Микола сидел в промытой весенними дождями межевой канаве и, руками прикрывая глаза от плетей, хрипел:

— Не покорюсь... Не покорюсь.

Мужиков случилось больше. Казаки ускакали за подмогой.

В станице митинг, и митинг снова окончился побоищем, после которого в станичном правлении старики принялись пороть молодых казаков, а в доме Григорова далеко за полночь гудели голоса: в ту ночь в станице был создан ревком.

На пашню выехали вооруженные винтовками, бомбами, дробовиками — у кого что нашлось.

Этюды к роману

Письмо

Братец Фомушка!

Мы о тебе, когда бою нет, частенько вспоминаем. Сами которые лежали в лазарете и сознаем — не сладко. Ты не расстраивайся, а скорее выздоравливай, чего тебе все и желаем.

Описываю наше прохождение службы.

В батарею прислали комиссара Захарчука, ты его, хренка, знаешь: Титаровской станицы, рыжая кобыла Гараськи под ним ходит. На митинге Захарчук нам и говорит:

— Клянусь до гроба, я с вами рука об-руку. Я предан советской власти костями, душой и телом. Я знаю все боевые задачи высшего командования. Долой угнетателей! Пролетарий, соединяйся!

— Ладно.

Вот выступили на станицу Невинномысскую. Ожидаем, с какой стороны покажется противник. Не прошло время один час, как последовало донесение — неприятель наступает по всему фронту.

Тут тебе кадетские пластуны, тут разворачивается с флангов кадетская кавалерия, тут — вот он! — кадетский бронепоезд.

Бронепоезд меня заинтересовал.

Командир Никита Семенович подает грозную команду:

— Батарея, к бою... Прицел 80, трубка 78... Наводить точно... Огонь! Га-гах.

Полетела моя консерва кадетам на завтрак. Влепил прямо в тендер. Из передовой цепи по телефону передают: попало. А я и так вижу: попало, аж пар зашипел.

Вот Митька Дягель грохнул, тоже попало.

Видим, сквозь пыль рельсу крутит штопором, и вот тебе, поехала железная дорога кверху. Никита Семенович глядит в прозрачную трубу и смеется:

— Молодец, Половинкин! Молодец, Дягилев! Бейте еще!

Тут кадетская конница запылила, строит лаву. Тут пластуны из межевой канавы лезут в атаку. Захарчук наш замотался:

— Товарищи, надо отступить. Товарищи, побежим, пока не поздно.

Но на него некогда было оглядываться.

— Батарея, беглый, огонь! Пулеметы, огонь!

Пошла тут вот такая, начали мешать небо с землей.

Кадеты побежали.

Наша пехота поднялась, вперед! Кавалерия вперед! Батарея, известно, на передки и вперед! Ура, ура! Бронепоезд

езд показал нам хвост и ушел. Пластуны сдаются, офицеры стреляют и колют себя, но не сдаются. Захватили обоз, патроны, муку, 120 пластунов — они борщ варили, борщ достался нам. Давно мы не видали горячей пищи, две недели питались консервами и то только тогда, когда они были, вот покушали, теперь можно воевать дальше. Прибегает Захарчук с конным ведром:

— И мне, говорит, налейте.

— А ты где был? — спрашиваем.

— Я отстал, животом расстроился.

Напомнили мы ему, клялся итти с нами рука об-руку, выплеснули остатки борща на землю, ему и одной ложки хлебнуть не дали. Кругом смеялись.

Пошли смотреть поле брани, прямо Бородинская битва. С убитого черкеса снял я маузер с золотой насечкой. Выздоровливай, Фомка, скорее — маузер будет твой.

Подарков жителя наташили — арбузов, сметаны и так далее. Музыка играет народный гимн. Какой восторг и трепыханье кругом... Девки пришли, одна хороша: в желтых гетрах и глаза такие серые, но не удалось с ней поближе познакомиться.

Командир передал — трогайся. Прибыли на отдых в хутор, забыл его правильное название.

Ночью вшестером, комиссар Захарчук седьмой, отправляемся в разведку. Чистое поле, все тихо, спокойно. Туман такой — ушей коня не видно. Захарчук ежится и говорит:

— Ох, ребята, смотри зорко. Кадет китрый, может сквозь наших ног пролезть.

— Ладно.

Дело к свету. Пробираемся балкой по-над кустами. Впереди заржали лошади, разговаривают. Что такое? Мы приготовились. Голова в голову с'езжаем, с кадетским раз'ездом. Их шестеро, нас шестеро — Захарчука, в случае чего, и считать нечего.

— Какого полка?

— Уманского.

Эге. По голосу и по бороде признаю дядю Прохора Артемьевича.

— Это ты, дядя Прохор?

— Я.

Захарчук шумит:

— Стреляй, кадеты.

— Ты, Сенька?

— Так точно, — отвечаю я дяде.

— Стреляй!..

— Перестань гавкать, — говорю я Захарчуку. — Это есть наши станичники, интересно нам про домальность узнать.

Захарчук крутнул свою рыжую кобылу и осадил за наши спины, ждет, что будет дальше.

С'ехали на три шага. У них карабины на изготовку, и у нас карабины на изготовку. Ну, поздоровались. Дядя Прохор Артемьевич, Сметанин, Васька Пьянков, Федя Стецюра, что в атаке под хутором Малеваным вгорячах отрубил хвост своему жеребцу, и двое незнакомых.

— Давно из станицы? — спрашиваю

— Не так давно, но порядочно.

— Как там моя баба?

— Скоро родить, со степью управилась.

— Как служба?

— Ничего, — отвечает дядя. — Жалованья тридцать рублей, сахару и табаку не дают. Когда будет конец этому?

— Сдавайте оружие, вот вам и конец.

— Вы пленным яйца вырезываете?

— Брехня, дядя. Зачем нам нужны ваши, у нас своих по паре. Сдавайте оружие.

— Мы погодим сдавать оружие, вы сдавайте, — а у самого глаза, как у сыча, сверкают.

— И мы погодим, — отвечаю.

Поговорили еще немного, угостили из папиросками и раз'ехались. Ни нам никто, ни мы никому.

Еще был бой у станции Овечка. Туго нам пришлось. Боевые обстоятельства предсказали нам отступать. Фронт растерялся, везде оказались прорывы. Занялись бегством, кто кого перегонит. На каждом сапогу по пуду грязи, ноги потеряли до мослов, силы нет бежать. На переправе через реку Кубань так мы загрузили паром, что он пошел ко дну и пушки пошли ко дну, а люди поплыли. Смешно, но смеяться некогда. Жалко было смотреть на таковую картину, когда товарищи плыли по Кубани и стонали:

— Спасите, помогите...

Я сам вылез и Дягеля за русые кудри вытащил, — он нахлебался, ему осталась одна минута до смерти.

Ушли живыми, всё хорошо.

Стоим на отдыхе в станице Суворовской, пляшем на вечерках, калечим девок, хлещем самогон. Жить пока можно.

Какая там у вас в лазарете пища, а также, хорошие ли порядки? Скорее поправляйся и приезжай, я по тебе соскучился, и все товарищи поминают.

С поклоном С. Половинкин.

О чем говорили пушки?

«Мы, бойцы 1-го батальона Интернационального полка, собрались на митинг и обсудили постановление высшей власти о размене с Германией и Австрией военнопленными старой армии.

Добровольцев, желающих покинуть наши красные ряды и возвратиться на свою германскую и австрийскую родину, в батальоне не оказалось.

Некоторые навстречу оратору говорили: «Сперва расправимся с русскими буржуями, потом все вместе пойдем свергать с золотого трона мировую буржуазию».

Пауль Михаэльс, много раз он ранен и имеет преклонный возраст, командирится, согласно нашего решения, по месту жительства, в город Гамбург.

Даем ему наказ.

Товарищи и братья, рабочие и крестьяне всего мира! Сейчас и ребенку стало ясно, в единении — наша сила на победу над общим врагом — капиталом. Мы не щадим ни жизнями, ни семьями, ни родным кровом и идем напролом. Али вы не слышите наших слез, стонов и проклятий? Мы истекаем кровью в горах, лесах и степях необъятной России. Али вы не слышите, о чем гремят-говорят наши пушки? Близок, близок день полной победы над тиранами, генералами, помещиками и прочей мелкой сволочью, сосущей соки трудового народа. Своими кулаками мы стучимся в ваши груди. На помощь! Братья, на помощь! Разбирай оружие и за дело. Если нужно будет нашей силы, то, покончив со своими, выйдем вам на подмогу и пойдем хоть на край света. Клянемся не свертывать красных знамен, пока на земном шаре не будет

казнен последний паразит! Ни шагу назад! Да здравствует Красная армия мозолистых рук всего света!»

Ветхий листок резолюции подшит к архивному делу. На листке, как ржавчина, следы выцветшей крови и мазки засохшей глины. Документ волнует крепче всякой поэтической выдумки.

Сад блаженства

В глухом, заросшем травой переулке, в неприглядном, покосившемся домишке доживал свой век престарелый чиновник Казимир Станиславович. За сорокалетнюю службу в акцизном ведомстве он получал небольшую пенсию. Давным-давно старик отмахнулся от житейских сует и никогда со двора не выходил. Сношения с внешним миром, главным образом с базаром, поддерживала верная подруга его жизни — Олимпиада Васильевна.

Ютились они в полутемной кухне, а солнечное зальце и две комнаты, заставленные фикусами и сухими кустьями, были отведены пернатым. На подоконниках — желтый песок, корытца для корму и питья, тарелки с зеленью и приспособленные для купанья чайные блюдца. Клетки под окнами, по стенам и под потолком; клетки низенькие, четырехугольные, круглые и высокие с куполообразным верхом, без жердочек и с жердочками в несколько ярусов, обтянутые редкой холстиной или промасленной бумагой; клетки в сенях и в саду, — к дому примыкал сад, черен и дик.

Птицы, если это не была пора линьки, поднимали гомон спозаранок.

Первыми встречали рассвет голосистый дрозд или соловушка Чародей — громовый раскат сверкающих трелей, казалось, дрожали стены дома. Встряхивался и, прочищая горло, пробовал голос старый кенар, по прозвищу Петька, столь искусный в своем деле, что по заказу высвистывал «Х а з Б у л а т», «Т р о й к у», «К о л ь с л а в е н». Сквозь гущу разросшихся под окнами акаций поодирался первый солнечный луч. Щеглы, чечетки, лазоревки и иные немудрящие птахи на разные лады славили утро.

Птицы будили стариков.

Казимир Станиславович в туфлях на босу ногу и в заплатанной, перезаплатанной форменной шинели в накидку обходил свои владенья, ласково улыбаясь и ворча, и жмурясь спросонья. Драчливые лазоревки и сорокопуты уже ссорились у корытца с кормом. Жаворонки купались в песке, насыпанном в ящик из-под гильз. Пара молодых кле-стов, резвясь, сталкивали друг друга с жердочки. Зяблики и славки, что жили в открытых клетках, гонялись по комнатам за мухами и лепились к бревенчатым стенам, выклеывая из щелей тараканов.

Казимир Станиславович наскоро умылся и, шаркая туфлями, бежал на кухню завтракать.

— Как по-твоему, — спрашивал он свою подругу, — не поставит ли Баяну еще одну жердочку? Или ему так просторнее? А?

Олимпиада Васильевна разливала чай и обычно молчала, а Казимир Станиславович продолжал:

— Дичок что-то заскучал? А как он еще в позапрошлую неделю пел? Боже мой... Талант, талант... Уж не обтянуть ли его клетку полотном? Может быть, он хочет побыть в одиночестве?

— У меня, батюшка, не своя фабрика. Где я наберусь полотна? И так все тряпки перевела, со стола смахнуть нечем.

— Экая ты заноза! И как это язык повертывается такое сказать? Оторви рукав от моей нижней рубашки и выстирай, вот тебе и полотно... Зачем мне рукава? И без рукавов проживу, — он сиял и заливался заморенным смешком.

— Хорош, хорош басурман, — горестно взирая на него, качала седеющей головою старуха.

На позывный свист хозяина живо налетали щеглы, снегيري, синицы, чечетки; садились ему на плечи, на руки, на голову, сновали по столу, подбирая крошки.

Случалось, под окнами пропитой голос тянул:

— Чинить тазы, ведра, самоварные трубы.

И — целая беда, если холодный кузнец принимался орудовать где-нибудь поблизости. Казимир Станиславович

морщился: яростный грохот молотка и лязг железа оскорблял нежный слух птицы.

— Степан Перфильев или слободской Горбыль... Не могу я видеть эти пьяные морды. Пойди, Олимпиадушка, дай ему гривенник на похмелье, он и провалится.

Олимпиада Васильевна спроваживала бродячего кузнеца, а заодно прогоняла с тротуара и мальчишек, играющих в бабки или в орлянку.

Последний глоток жиденского кофе, и завтрак окончен.

Дрозд Сударик тянулся с плеча, потом, осмелев, прыгал на подставленный палец и принимался быстро выбирать из усов хозяина хлебные крошки. Казимир Станиславович прихватывал лапку другим пальцем и так, на руке, уносил Сударика в комнаты.

В суете и хлопотах летели дни, годы...

Старик кормил и купал птиц, подстригал сломанные и искривленные коготки, чистил клетки, устраивал свадьбы, с перышка кормил птенцов желтком и тертой выдержанной в молоке репой, к старым певцам для выучки подсаживал молодых, гонял по саду злейших своих врагов — кошек.

Однажды Олимпиада Васильевна вернулась с базара в большой тревоге и заохала:

— Батюшки, светы мои... Немцы нам войну объявили.

— Отстань, старая, всегда ты с пустяками, — отмахнулся раздраженный Казимир Станиславович. — Несчастье: у Светланы судороги ног и палец нарываёт, должно быть занозила? Оберни-ка у ней жердочку сукнецом... Черный дрозд заболел: второй день не ест, не пьет. Бузины надо? Или наловила бы ты мне пауков да мокриц — при запорах помогает.

— Где я тебе их наловлю? Я — не воробей.

— Ну, купи миндального маслица? Настояю в масле мучных червей и покормлю дрозда? Авось...

— Хорош, хорош басурман.

Железной поступью прошла война, грянула революция, в городе не раз сменялась власть. Казимир Станиславович знать ничего не хотел. Блаженствуя, слушал своих певцов, радовался

ихними радостями и печалился ихнею печалью. Прекратили выдачу пенсии. Казимир Станиславович встретил эту весть равнодушно. Частенько, кротко улыбаясь и заглядывая своей старушке в добрые глаза, он говаривал:

— Олимпиадушка, зачем тебе подвенечное платье? Если я и протяну ноги, так замуж тебе не выходить. Лучше меня не найдешь,—и он седым усом шаловливо щекотал ее морщинистую шею.— Зачем нам перина, сундуки, какие-то вазы, сковородки? Последний раз ты пекла блины года три назад, когда Перун из-за ревности выключил глаз Заливистому... Заливистый... Как он пел... Как щелкал... Какие трели и раскат, и дробь пускал... Господи! — он стонал и смахивал со щеки мутную слезинку.— Нет, нет... Таких соловьев больше нет, нет и не будет... Зачем тебе ковровый платок? Не молоденькая. Зачем обручальное кольцо? Зачем нам стулья? Проживем и без стульев.

Старьевщикам за бесценнок пошла всякая всячина. Сами жили кое-как и кормились кое-чем, спали на полу на

каких-то лохмотьях, но птицы попрежнему ни в чем не знали недостатка: кормушки их были полны, клетки вычищены, сквозь акации блистало солнце.

Многотысячная армия обложила город.

Всю эту ночь Казимир Станиславовичу снились кошки.

— Гром что ли? — спросил он, выглядывая в кухонное окно.

— Хорош, хорош басурман, из ума выжил... Какой тебе гром? Из пушек палят.

— Кто палит? Из каких пушек?

— Да ну тебя... — махнула рукой Олимпиада Васильевна и побежала к соседке занять муки на подболтку.

Казимир Станиславович копался в саду, — червей искал, — когда в дом ударил снаряд: в туче пыли проблеснул желтый огонь, и в один миг ветхое строение было охвачено пламенем. Отброшенный силою взрыва в лопухи и репейник, старик смотрел на горящий дом в оцепенении и не в силах был двинуть ни рукой, ни ногой...

(Окончание следует).